

*ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ  
ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*

М. Н. ТИХОМИРОВ

## Городская письменность в древней Руси XI—XIII веков

Эта статья ставит своей задачей показать, что письменность в древней Руси была развита гораздо больше, чем это принято думать; что она не являлась достоянием только духовенства и феодалов, а имела значительно более широкое распространение; что литература древней Руси была богатой и не носила того одностороннего, церковного характера, который ей нередко приписывали.<sup>1</sup>

### 1

Знаменитые надписи „граффити“ на стенах Софийского собора в Новгороде, изученные В. Н. Щепкиным, показали, что письменность в древней Руси получила широкое развитие уже в XI—XIII веках. Софийские надписи ввели нас в быт русского человека, подобно тому как надписи в Помпее осветили римский быт II века нашей эры. Теперь, когда археологи выкопали погребенные в земле различные предметы домашнего обихода, колодки, горшки, аршины, с древнерусскими надписями, когда в Гнездовском кургане начала X века найден был сосуд с надписью кирилловскими буквами, а в Новгороде берестяные грамоты XI—XV веков, — уместно заново поставить вопрос о русской письменности, попытаться показать, что уровень этой письменности вполне соответствует нашим представлениям о высокой культуре Руси XI—XIII веков.

Попробуем прежде всего напомнить те сведения, которые наши источники дают о книжной письменности на Руси X—XIII веков, до прихода монголов.

Здесь на первом месте надо отметить указание начальной летописи о деятельности Ярослава Мудрого как великого книголюбца XI века. „Ярослав любил церковные уставы и собрал писцы многие и переводил с греческого на славянское письмо, и написали книги многие“, — пишет летописец о его деятельности.<sup>2</sup> Из дальнейших летописных сведений мы узнаем, что Ярослав любил книги и многие из них положил в церкви святой Софии в Киеве.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Например, акад. В. М. Истрин пишет, что „немногие произведения древнерусских книжных людей, все, за исключением разве «Слова о полку Игореве», были основаны на готовом чужом материале“ (В. М. Истрин. Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода XI—XIII веков. Пгр., 1922, стр. 15).

<sup>2</sup> Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872, стр. 148—149: „И бе Ярослав любя церковныя уставы. . . и прекладалше от грек на словенское письмо, и списаша книги мнози“.

<sup>3</sup> „Ярослав же сей яко же рекохом, любим бе книгам и мнози написав, положи в святей Софьи, церкви, юж созда сам“.

Современник только отметил особую любовь Ярослава к письменности: Ярослав „любим бе книгам и многы написав“. Но книжные собрания на Руси возникли еще до него. Летописец приписывает особую любовь к книжным словесам („бе бо любя словеса книжная“) его отцу — Владимиру Святославичу.

Уже И. И. Срезневский отмечал некоторые переводы, которые, по его мнению, были сделаны на Руси и отличаются русскими языковыми особенностями. Количество таких произведений сильно увеличилось в результате исследований А. И. Соболевского и других историков русской литературы. Таким образом у нас нет никакого сомнения в истинности летописных слов о переводах многих греческих произведений на славянский язык, сделанных уже в первой половине XI века.

Нет сомнений и в существовании библиотеки при Софийском соборе в Киеве, от которой до настоящего времени, повидимому, ничего не осталось. „Велика ведь бывает польза от учения книжного; книгами ведь... мы мудрость обретаем; это реки напоющие вселенную; в книгах ведь неисчетная глубина; и ими в печали утешаемся“ — эти изречения принадлежат летописцу XI века. В них высказывается та же мысль о пользе книжности и наук, которую впоследствии выразил великий русский ученый М. В. Ломоносов, говоря, что науки „в счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут“.

Софийская библиотека не была исключением в самом Киеве. У нас есть прямое указание на другую обширную библиотеку, где имелись не только русские, но и греческие книги, — на библиотеку Киево-Печерского монастыря. На хорах, „полатах“, соборной церкви этого монастыря хранились греческие книги, которые были принесены мастерами, расписывавшими эту церковь. „Суть же и ныне свиты их на полатах и книги их греческаяа блюдомы“, — пишет автор XII—XIII века.<sup>1</sup>

Такие же библиотеки существовали и в других русских городах. Одна из них с давнего времени была собрана при новгородском Софийском соборе. Некоторые рукописные книги, дошедшие до нашего времени от XI—XII веков, несомненно были написаны в Новгороде. Так, из летописей мы знаем о существовании центров письменности в том же Новгороде. Например, в Юрьевом монастыре жил и работал Кирик, один из монахов этого монастыря, принимавший участие в составлении летописей. Знаем мы также о письменности, развивавшейся при новгородских приходских церквях. В частности, напомним о священнике Германе Вояте и пономаре Тимофее как авторах летописных заметок. В Полоцке письменность была настолько широко развита, что здесь перепиской книг не гнушались даже лица княжеского рода. В житии полоцкой княжны Ефросиньи рассказывается, что она начала „книги писать своими руками и наем емлюще требующим даяше“,<sup>2</sup> иными словами, Ефросинья сама переписывала книги и продавала их за деньги. Мы знаем также о высокой учености смоленского епископа Клима и о тех спорах по богословским вопросам, в которых принимал участие Смоленск начала XIII века, что нашло свое отражение в житии Авраамия Смоленского.

Все эти факты общеизвестны. Менее известно, откуда черпались основные кадры переписчиков русских книг. Некоторые сведения об

<sup>1</sup> Патерик Киевского Печерского монастыря. Изд. Археографической комиссии, СПб., 1911, стр. 9.

<sup>2</sup> Памятники старинной русской литературы, издаваемые Кушелевым-Безбородко, вып. 4. СПб., 1862, стр. 174.

этом могут дать записи на русских рукописях XI—XIII веков. Свод подобных записей, сделанный Е. Ф. Карским, показывает, что основную массу переписчиков составляли главным образом дьячки, пономари, а также поповские сыновья.<sup>1</sup>

Правда, заказчиками обычно выступают епископы, игумены, князья, бояре, но исполнителями, как правило, было низшее духовенство. Это заставляет нас вспомнить высказывание Энгельса о средневековом духовенстве:

„Плебейская часть духовенства состояла из сельских и городских священников... Им как выходцам из бюргерства или плебса были достаточно близки условия жизни массы, и потому, несмотря на свое духовное звание, они разделяли настроения бюргеров и плебеев. Участие в движениях того времени, являвшееся для монахов исключением, для них было общим правилом. Из их рядов выходили теоретики и идеологи движения, и многие из них, выступив в качестве представителей плебеев и крестьян, окончили свою жизнь на эшафоте“.<sup>2</sup>

Но не одно только низшее духовенство пополняло ряды книжных переписчиков. О многих писцах нельзя точно сказать, к какой социальной группе они принадлежали. Кем были, например, Моисей Киянин, переписавший триодь Типографской библиотеки, Путята, Угринец и др.? Е. Ф. Карский справедливо предполагает, что такие переписчики „были писцами по профессии“, иными словами, ремесленниками. Таким образом у нас есть полное основание говорить, что письменность получила распространение не только в среде духовенства и выходцев из духовенства, но и среди ремесленников, к числу которых принадлежали писцы-профессионалы.

Действительно, широкое распространение письменности на Руси подтверждается замечательными открытиями, сделанными советскими археологами.

Давно опубликованы граффити, начертанные неизвестными руками на стенах Софийского собора в Новгороде. Такие же надписи найдены на стенах Выдубицкой церкви в Киеве, Софийского собора в Киеве и т. д. А сколько их должно было погибнуть при различного рода реставрациях древних соборов и церквей, когда во имя так называемого благолепия портились и искажались древние стены замечательных построек древней Руси!

Наиболее интересным обстоятельством в археологических находках последнего времени является то, что надписи X—XIII веков обнаружены на различных предметах обихода. Они имели определенное бытовое назначение, следовательно были предназначены для людей, которые могли эти надписи прочитать. Конечно, граффити можно в какой-то мере приписывать представителям духовенства, пусть даже низшего, которые царячили свои имена на стенах соборов и церквей. Письменные памятники — летописи, повести, жития и пр. — также отчасти могут быть приписаны представителям феодальной верхушки. Однако какие же князья и бояре могли делать надписи на горшках для вина и на колодках для обуви? Ясно, что эти надписи были сделаны представителями совершенно иных кругов населения, письменность которых становится теперь нашим достоянием благодаря успехам советской археологической и исторической науки.

Наиболее известны надписи на так называемых пряслицах, т. е. небольших грузиках, сделанных для веретен. Эти пряслица изготов-

<sup>1</sup> Е. Ф. Карский. Славянская кирилловская палеография. Л., 1928.

<sup>2</sup> Ф. Энгельс. Крестьянская война в Германии. М., 1952, стр. 25, 26.

лены из розового шифера, который добывался в Киевской земле, около города Овруча (древнего Вручого). Отсюда пряслица широко расходились по всей восточной Европе. В Рязани на таком пряслице находим надпись „Молодило“, в Новгороде — „Мартин“, в Вышгороде, поблизости от Киева, — „невесточье“, в Киеве — „Потворен пряслен“ и пр.<sup>1</sup> Существование надписей на пряслицах показывает, что письменность в данном случае была связана с широкими бытовыми потребностями. Надписи на пряслицах были именными, наподобие того, как это позже делалось с кольцами.

Еще более замечательными находками поразили нас новгородские раскопки, под руководством проф. А. В. Арциховского. Там, например, найдено было днище одной из бочек с четкой надписью XII—XIII века — „юрищина“. Бочка, следовательно, принадлежала какому-то Юрию или, по древнерусскому обычаю уменьшать или усиливать имя, „Юрищу“. На деревянной сапожной колодке для женской обуви встречаем надпись „Мнези“. Если это не является искажением какого-нибудь слова, то тогда это, повидимому, женское имя. Две надписи являются сокращениями имен, они сделаны на костяной стреле и на берестяном поплавке. Но, пожалуй, самая интересная находка — это открытие в Новгороде так называемого Иванского локтя.

Известно, что при церкви Ивана Предтечи на Опоках в Новгороде существовало объединение купцов, торговавших воском. Привилегией этого купеческого объединения являлось право производить контроль над мерами веса и длины, употреблявшимися при торговых операциях. Для измерения тканей, очень дорогих в средневековое время, как, например, драгоценные фландрские сукна, употреблялся так называемый Иванский, или „Еваньский“, локоть, образец которого хранился при церкви Ивана Предтечи на Опоках. При раскопках на Ярославовом дворе в Новгороде был найден небольшой кусок дерева в виде обломанного аршина, на котором оказалась надпись „святого еванского...“.<sup>2</sup> Надпись, сделанная буквами XII—XIII веков, указывает, для какой цели употреблялся деревянный аршин, найденный на Ярославовом дворе, — это был Иванский локоть.

Уже новгородские находки показывают, что употребление письменности было весьма значительным в ремесленном и торговом быту, по крайней мере так можно сказать о Новгороде.

Применение письменности на предметах домашнего обихода, однако, не являлось только новгородской особенностью. Б. А. Рыбаков описал фрагмент корчаги, на которой сохранилась надпись. Большую часть ее ему удалось разобрать. Б. А. Рыбаков предполагает, что полностью надпись читалась так: „благодатнеша плона корчага си“. Слова „неша плона корчага си“ полностью сохранились на остатках этого сосуда, найденного в старой части Киева при земляных работах.<sup>3</sup> О такой же, только более обширной, надписи на обломке большого горшка, в котором хранилось вино, сообщает А. Л. Монгайт. По краю этого сосуда, найденного в Старой Рязани, начертана надпись буквами XII или начала XIII века. В. Д. Блаватский обнаружил фрагмент сосуда из

<sup>1</sup> А. В. Арциховский. Введение в археологию. Изд. 3-е, переработ. и дополн., М., 1947, стр. 178.

<sup>2</sup> А. В. Арциховский. Новгород Великий по археологическим данным. Вестник Академии Наук СССР, № 3, 1948.

<sup>3</sup> Б. А. Рыбаков. Надпись киевского гончара XI века. Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры, XII, 1946, стр. 134—138.

Тьмутаракани, на котором сделано несколько неясных букв начерками XI—XII веков. Разобрать эту надпись не удалось ввиду ее отрывочности.

Жемчужиной среди археологических находок является опубликованная недавно Гнездовская надпись X века, из которой выясняется, что в сосуде с этой надписью хранилась какая-то пряность — „горухца“, т. е. горчичное семя, перец или еще какое-либо пряное вещество, дорого ценившееся в средние века.<sup>1</sup>

Таким образом употребление письменности в XI—XIII веках для предметов гончарного производства является совершенно доказанным.

Как и можно было предполагать, письменность имела немалое распространение и в рядах каменщиков-строителей. Специальное исследование Б. А. Рыбакова показало, что кирпичи, употреблявшиеся для строительства каменных зданий в древней Руси, обычно имеют метки. Так, на нескольких кирпичах собора в Старой Рязани отгиснуто имя мастера: Яков. „Надпись вырезана была прямо в форме и отгиснулась на кирпиче, как зеркальное отражение“.<sup>2</sup> В настоящее время можно говорить уже с полной определенностью, что среди строителей каменных зданий древней Руси имелись грамотные люди.

Большое распространение письменности находим также у резчиков по камню. Древнейшими образцами письменности по камню являются каменные плиты с остатками букв, найденные в развалинах Десятинной церкви в Киеве, построенной в самом конце X века. Одна из древнейших надписей сделана на известном Тьмутараканском камне. К 1133 году относится Стерженский крест; почти одновременно с ним был поставлен известный Борисов камень на Западной Двине. Распространенность подобных крестов и камней с памятными записями XI—XIII веков указывает, что письменность прочно внедрилась в обиход древней Руси. Об установившемся обычае ставить на межах камни с надписями говорит и так называемый „камень Степана“, найденный в Калининской области.<sup>3</sup>

Письменность была распространена среди мастеров-художников, расписывавших древнерусские церкви. Для них грамотность, вероятно, являлась не только обычной, но и обязательной, так как церковные изображения, как правило, сопровождалась объяснительными надписями. Количество малых и больших надписей на иконах и фресках настолько велико, сами надписи сделаны так тщательно и так отражают развитие живого русского языка с его диалектными особенностями, что не требуется особых доказательств, чтобы сделать вывод о широком развитии письменности среди русских мастеров-художников.

Письменность была хорошо известна и в рядах ювелиров, оружейников, литейщиков и т. д.

Напомним здесь о существовании ряда надписей на различного рода сосудах, крестах, иконах, украшениях, которые дошли до нас от XI—XII веков. Невозможно допустить, что ремесленники, делавшие

<sup>1</sup> Д. А. Авдусин и М. Н. Тихомиров. Древнейшая русская надпись. Вестник Академии Наук, № 4, 1950. — Чтение Мареша („горух пса“) представляется недостаточно обоснованным.

<sup>2</sup> А. Л. Монгайт. Раскопки в Старой Рязани. Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры, XXXVIII, 1951, стр. 18—19. — Надпись прочитана А. Л. Монгайтом, как „Яков тв...“ (вероятно, „творил“).

<sup>3</sup> П. Н. Третьяков. Сельское хозяйство и промыслы. История культуры древней Руси. Т. I. Материальная культура. М.—Л., 1948, стр. 61—62.

эти надписи, были людьми неграмотными, так как в этом случае мы имели бы ясные следы неумения воспроизвести надписи на самих вещах. Следовательно, надо предполагать, что среди ремесленников были люди с определенными навыками письменности. Доказательства этому дают сами предметы замечательного ювелирного искусства древней Руси.

Хорошо известны два серебряных сосуда, так называемые кратиры XI—XIII веков, принадлежавшие новгородскому Софийскому собору. На одном из них имеется надпись, указывающая на то, что сосуд сделан неким Братилой, на другом — указание на мастера Косту. Б. А. Рыбаков пришел к мысли, что сосуд Братилы относится к концу XI—началу XII века, а сосуд Косты сделан не ранее конца XII—начала XIII века.<sup>1</sup> Для нас важно отметить, что и Коста и Братила, оба ювелиры XI—XIII веков, несомненно были людьми грамотными.

Но письменность вовсе не являлась исключительной принадлежностью только новгородских мастеров. Напомним здесь о знаменитом Лазаре Богше, который в 1161 году сделал богатый крест Ефросиньи Полоцкой и оставил на нем свое имя.

Можно не сомневаться в том, что надписи на предметах обихода князей или высшего духовенства, как это отчетливо видно, например, из уже упомянутой надписи на старорязанском сосуде, открытом А. Л. Монгайтом, делались княжескими тиунами или какими-либо другими домашними слугами. Напомним здесь об окладе Мстиславова Евангелия, сделанном между 1125—1137 годами на средства князя. Некий Наслав ездил по княжескому поручению в Константинополь и, повидимому, был тиуном, судя по его словам: „правлящи его (т. е. князя, — М. Т.) орудия и правьду“. Какую-то долю выполнения надписей на предметах мы должны уделить торговым и ремесленным кругам.

До нас дошли по преимуществу дорогие изделия, хранившиеся с особой тщательностью и уцелевшие только в силу особо благоприятных условий. Но дает ли это право отрицать существование письменности среди тех кругов ремесленного населения, которое занималось производством других, менее драгоценных изделий, чем новгородские кратиры и полоцкий Ефросиниевский крест? Деревянные сапожные колодки, костяная стрела, берестяной поплавок, деревянная чашка с надписью „смова“, найденные в новгородских раскопках, свидетельствуют о том, что письменность в Киевской Руси не была достоянием только феодалов, — она находила распространение среди торговых и ремесленных кругов богатых русских городов XI—XIII веков.

Как видим, существование ряда ремесленных специальностей требовало знания грамоты, а в некоторых случаях даже определенного образования.

Следовательно, мы с полным основанием можем утверждать, что письменность должна была иметь и имела распространение среди ремесленников древней Руси XI—XIII веков. Конечно, распространение письменности среди ремесленников не приходится преувеличивать. Вероятно, она имела применение в основном в редких ремесленных производствах, была распространена по преимуществу в городах, но и в этом случае археологические находки последних лет уведут нас далеко от обычных представлений о бесписьменной Руси, где

<sup>1</sup> Б. А. Рыбаков. Ремесло древней Руси. Изд. АН СССР. 1948, стр. 298.

только монастыри да дворцы князей и бояр являлись очагами культуры.

Приведем несколько фактов, мало привлекавших до сих пор внимание историков и историков литературы и языка, о широком развитии письменности на Руси.

Среди князей XII—XIII веков был широко распространен обычай обмениваться так называемыми крестными грамотами, представлявшими собою письменные договоры. О крестной грамоте, которую галицкий князь Владимирко „возверже“ киевскому князю Всеволоду, сообщается уже под 1144 годом. В 1152 году Изяслав Мстиславич прислал тому же Владимиру крестные грамоты с упреками в вероломстве;<sup>1</sup> в 1195 году киевский князь Рюрик отослал крестные грамоты Роману Мстиславичу; на основании их Рюрик „обличи“ измену Романа;<sup>2</sup> в 1196 году о таких же крестных грамотах упоминается по отношению к Всеволоду Большое Гнездо. Известно о крестных грамотах князя Ярослава Всеволодовича и т. д. Таким образом нет никакого сомнения, что обычай письменных междукняжеских договоров прочно утвердился на Руси в XII веке. Характерно, что уже в это время появляются грамоты-подделки. Известно о ложной грамоте, посланной от имени Ярослава Осмомысла в 1172 году. Судя по летописи, автором подложной грамоты были галицкий воевода и его товарищи.<sup>3</sup> Грамота в этом известии является одним из необходимых атрибутов междукняжеских сношений, настолько вошедших в обиход, что к составлению ложной грамоты прибегают галичане и их воевода.

Сохранившиеся до нашего времени княжеские грамоты позволяют говорить о том, что они уже в XII веке составлялись по определенной формуляру. Две грамоты новгородского князя Всеволода Мстиславича, данные им Юрьеву монастырю в 1125—1137 годах, имеют одинаковое введение и заключение. Примерно по такой же формуле написаны грамоты Мстислава Владимировича (1130) и Изяслава Мстиславича (1146—1155).<sup>4</sup> Перед нами документы, вышедшие из княжеской канцелярии, написанные по определенным образцам опытными писцами. Следовательно, навыки княжеских канцелярий не могли сложиться мгновенно, им должен был предшествовать какой-то период развития. Существование договоров Руси с греками говорит нам о том, что княжеские канцелярии на Руси появились не позднее X века.

Как уже сказано, письменность не являлась принадлежностью только княжеских канцелярий. Потребность в частных актах появилась уже довольно рано, о чем свидетельствует вкладная Варлаама Хутынского, написанная около 1192 года, а также еще более ранние документы частного-правового характера — купчая и духовная Антония Римлянина (не позднее 1147 года).<sup>5</sup> Та среда, в которой возникали подобные документы, прекрасно очерчивается новгородскими берестяными грамотами, открытыми А. В. Ардиховским. В слое XI века было найдено письмо, написанное на бересте и адресованное к некоему Василю, по поводу семейных несогласий. Находки А. В. Ардиховского со всей ясностью показали, что письменность глубоко внедрилась в русское общество

<sup>1</sup> Летопись по Ипатскому списку. СПб., 1871, стр. 225 и 318.

<sup>2</sup> Там же, стр. 461.

<sup>3</sup> Там же, стр. 375.

<sup>4</sup> Грамоты Великого Новгорода и Пскова. Под ред. С. Н. Валка. М.—Л., 1949, стр. 139—141. — Все эти грамоты начинаются словами: „се аз князь“, и кончаются заклатьями.

<sup>5</sup> Там же, стр. 159—162.

XI—XIII веков. Существовал и дешевый материал для письменности — березовая кора.<sup>1</sup>

В свете археологических находок новое объяснение получает известие о распространении в русских городах торговых документов, известных под названием „доски“. Были попытки считать доски чем-то вроде бирок, на которых значками отмечались долги. Это толкование того, что представляли собой доски, опиралось на обычные представления о бесписьменности древней Руси. Поразительнее всего, что такое объяснение досок держалось длительное время, несмотря на прямые указания наших источников, что доски были письменными документами. В известном рассказе летописи о восстании в Новгороде в 1209 году говорится о досках посадника Дмитра Мирошкинича, которые были отданы князю, но не поясняется, что представляли собой эти доски. Однако в Академическом списке XV века, высокая достоверность которого особо отмечалась А. А. Шахматовым, о досках сказано следующее: „а что ся на дьсках остало в письме, а то все князю“.<sup>2</sup> Таким образом совершенно ясно, что под досками понимается письменный документ.

В древнерусских памятниках доски точно так же отождествляются с письменами, писанием. В сборнике XIII века читаем слова: „в ты дни написаныя дьски сказую“; в другом древнерусском памятнике: „иже обрящется в дьсках написано, ино что книжное и лексикон и к брату написани какому“.<sup>3</sup> Доски упоминаются также писателем XII века Кириллом Туровским. В одном его поучении встречаем слова, сравнивающие уничтожение досок с изгнанием торговцев из Иерусалимского храма: „да доски, иже в нас купци, разорить“.<sup>4</sup>

Доски являлись общепринятым и очень распространенным документом в древней Руси, как это показывают статьи Псковской судной грамоты. Новгородские находки позволяют предполагать, что досками могли являться письменные документы, вначале делавшиеся на дощечках, а в более позднее время, возможно, и на берестяной коре. О такой эволюции досок как торговых документов может говорить существование досок в Чехии (dsky), где так именовались заемные документы, хранившиеся в городских учреждениях. Они были собраны в книги с переплетами из деревянных досок, покрытых кожей.

Нет никакого сомнения в том, что письменные акты вошли в прочный обиход древней Руси XI—XIII веков. Они являлись неотъемлемой частью торговых сделок, которые совершались в Киеве, Новгороде, Смоленске, Полоцке и других русских городах.

Употребление письменных документов в торговом быту указывает на то, что письменность была необходима для городских торговцев и ремесленников. Об этом же свидетельствует употребление терминов, связанных с письменностью, в юридических памятниках древнего времени. Обычно в доказательство того, что древняя Русь не знала широкого распространения частных актов, ссылались на Русскую Правду, которая будто бы совершенно не упоминает о письменных документах. Однако в пространной редакции Правды упоминается „мех“, особый сбор, который шел в пользу писца: „писцю 10 кун, перекладнаго

<sup>1</sup> А. В. Арциховский. Новые открытия в Новгороде. Вопросы истории, 1951, № 12, стр. 77—87.

<sup>2</sup> Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872, стр. 466.

<sup>3</sup> И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка, т. I. СПб., 1893, стр. 761—762.

<sup>4</sup> Рукописи графа Уварова, т. II. СПб., 1858, стр. 149.

5 кун... на мех две ногате".<sup>1</sup> По этому поводу один из комментаторов Русской Правды П. Мрочек-Дроздовский делает такое замечание: „мех — мешок для поклажи“. Далее он продолжает: „Некоторые, впрочем, объясняют его пергаменом для записывания необходимых сведений... но, кажется, в памятниках древней письменности, как и в современном языке, не найдется никакого подтверждения такому объяснению“.<sup>2</sup> Однако такой знаток древней письменности, как И. И. Срезневский, указавший на то, что слово „мех“ употреблялось для обозначения мешка, переводит термин „мех“ в Русской Правде как „кожа для письма“. Только абсолютной предвзятостью в подходе к изучению Русской Правды как памятника воображаемой бесписьменной Руси могло появиться толкование Мрочек-Дроздовского. Ведь сама Русская Правда прямо указывает, что и перекладное и пошлина „на мех“ шли писцу. К сожалению, и новейшие комментаторы Русской Правды ограничились только перечислением мнений о том, что означает слово „мех“. Между тем мы имеем указание на пошлины с письменных сделок и записей, относящиеся к XII веку. „Русскаяпись“ упомянута в рукописании Всеволода Мстиславича. Этот термин переведен в „Материалах для терминологического словаря“ как „подать, сбор“, что совершенно правильно, с тем добавлением, что речь идет о пошлинах с письменных записей („Русскаяпись“).

## 2

Итак, изучение русской письменности XI—XIII веков неизбежно приводит нас к выводу, что письменность была распространена в различных кругах русского общества. Не только феодалы, высшее духовенство и монахи, но и купцы и ремесленники нередко были грамотными, а в некоторых случаях и образованными людьми своего времени. Письменность вошла в общественный быт, была непосредственно связана с жизненными потребностями, по крайней мере в условиях городской жизни.

Возникает вопрос: были ли городские круги безучастны по отношению к литературным движениям на Руси XI—XIII веков?

Если судить по трудам о летописании А. А. Шахматова и М. Д. Приселкова, то на этот вопрос пришлось бы ответить отрицательно. Известно, что А. А. Шахматов придавал громадное значение деятельности церковных кругов в области летописания. Его основной труд по истории летописного дела — „Разыскания о древнейших летописных сводах“, по существу говоря, связывает все летописное дело с епископскими кафедрами и большими монастырями. На смену церковникам Киево-Софийского собора, которым Шахматов приписывает составление древнейшего летописного свода на Руси, по его мнению, приходит Киево-Печерский монастырь. В Киево-Печерском монастыре составляются своды 1073 года и 1093 года и, наконец, Повесть временных лет. Повесть редактируется в Выдубицком монастыре в Киеве и заново исправляется в Киево-Печерском монастыре. Одновременно в XI веке появляется летописный свод при новгородском Софийском соборе.

Дальнейшие исследователи истории летописания в основном идут по стопам А. А. Шахматова, с той только разницей, что, по М. Д.

<sup>1</sup> Правда Русская. I. Тексты. Под ред. Б. Д. Грекова. М.—Л., 1940, стр. 112.

<sup>2</sup> Правда Русская. II. Комментарии. М.—Л., 1947, стр. 564.

Приселкову, в составлении летописных сводов XII—XV веков принимают участие уже преимущественно князья. Таким образом не остается места для участия в летописании каким-либо другим кругам населения.

Стремление А. А. Шахматова и М. Д. Приселкова объяснить все летописание с точки зрения церковного или княжеского участия несомненно затемняет правильное представление о характере русской литературы древнего времени. Между тем такой же точки зрения о преобладании церковного элемента в создании летописей держится и советский ученый В. Т. Пашуто, написавший книгу по истории Галицко-волинской земли. Известно, что Галицко-волинская летопись XIII века, составляющая последнюю часть Ипатьевской летописи, отличается необычным расположением материала, который не укладывается в наше представление о летописном своде. Так, расстановка годов в Ипатьевском списке внесена уже в готовый летописный текст и плохо отвечает действительной хронологии событий. Существуют и такие списки Галицко-волинской летописи (Хлебниковский список), в которых годы совершенно не указаны.

Гражданский характер Галицко-волинской летописи неоднократно подчеркивался исследователями, да и в ней самой находим прямое указание на то, что ее составители заботились о сплошном, а не погодном изложении исторических событий: „хронографу же нужна есть писати все и вся бывшая, овогда же писати в передняя, овогда же воступати в задняя; чьтый мудрый разумееть; число же летом зде не писахом“.<sup>1</sup> Несмотря на это замечание самих составителей Галицко-волинской летописи, В. Т. Пашуто считает, что в Галицко-волинской летописи мы имеем в сущности несколько летописных сводов, которые были составлены по преимуществу при княжеских или епископских дворах. Так, появляется „княжеский Холмский свод митрополита Кирилла, составленный вероятно до отъезда его в Nikeю, только около 1246 г.“<sup>2</sup> Другая часть Галицко-волинской летописи признается летописью епископа Ивана, хотя этот епископ только трижды упомянут в наших источниках. Впрочем, и сам В. Т. Пашуто, рассказав о деятельности епископа Ивана, приходит к некоторым печальным выводам: „Последующие редакции настолько деформировали холмскую летопись владыки Ивана, что сделать еще какие-либо выводы относительно ее состава, а также датировки едва ли возможно“.<sup>3</sup> Так, никому не известный епископ оказывается одним из творцов великолепного памятника древнерусской письменности, брызжущего светской жизнерадостностью, столь характерной для Галицко-волинской летописи.

Теперь, когда мы знаем о распространении письменности в кругах городского населения, купцов и ремесленников, уместно поставить вопрос о пересмотре всего наличного богатства нашей древней письменности. Замечательно, что среди дошедших до нас памятников письменности, которым удалось войти в поле изучения историков литературы, мы как раз найдем произведения, носящие ясные черты их составления в среде, которую едва ли можно признать верхушкой феодального общества XII—XIII веков. Вспомним хотя бы знаменитое „Моление Даниила Заточника“. Что бы мы ни утверждали об авторе этого моления, или, вернее, об авторах этого моления, дошедшего до нас в двух ре-

<sup>1</sup> Летопись по Ипатьевскому списку, стр. 544.

<sup>2</sup> В. Т. Пашуто. Очерки по истории Галицко-волинской Руси. Изд. АН СССР, 1950, стр. 91—92.

<sup>3</sup> Там же, стр. 101.

дакциях XII и XIII веков, — мы должны признать, что Даниил Заточник стоял во всяком случае не очень высоко на феодальной лестнице.

В „Слове“ Даниила, которое адресовано князю Ярославу Володимировичу, перед нами рисуется яркий образ русского князя, выступающего в качестве феодала, окруженного слугами, вассалами: „Гусли бо страются персты, а тело основается жилами; дуб крепок множеством кореня; тако и град нашъ твоею дръжавою, зане князь щедр отедь есть слугам многим, мнози бо оставляютъ отца и мать, к нему прибегаютъ“.<sup>1</sup> Князь выступает в качестве управителя города, который, подобно тому как гусли настраивает гусли, направляет деятельность горожан. В Барсовском списке на месте слов „тако и град нашъ“ читаем „тако и градницы“, что возможно и было в первоначальном тексте. Градник — гражданин, горожанин. Это слово встречается в древнейших русских памятниках с XI века.<sup>2</sup> Поэтому нет основания предполагать, что оно появилось в Барсовском списке в виде позднейшей поправки. Позже это слово, видимо, исчезает из русского языка.<sup>3</sup> Из числа градников и выходят те „слуги“, которые оставляют отца и мать и переходят на княжескую службу. Это жили, которыми укреплено тело, корни, питающие дуб, т. е. княжескую власть.

Тема о слугах, которых должен привлекать и князь и боярин на свою службу, занимает важное место в Слове Даниила Заточника. В Академическом списке, принятом в печатном издании за основу, вероятно по его относительно большей древности, читаем, что многие „оставляют“ отца и мать, тогда как в других списках находим на этом месте слово „лишаются“. Надо думать, что именно это слово и стояло в первоначальном тексте. На службу к князьям и боярам идут сироты, лишившиеся отца и матери.

Совершенно напрасно видеть в термине „слуга“ общепринятое современное понятие человека, служащего в домашнем хозяйстве. Понятие слуги в качестве феодально-зависимого человека, чаще всего мелкого вассала, хорошо известно по нашим грамотам XII века и более позднего времени. Именно психологию такого зависимого человека и рисует перед нами Слово Даниила Заточника. Слуга находится в зависимости от своего господина: „доброму бо господину служа, дослужитя слободы, а злу господину служа, дослужитя болшей работы“. Поэтому такое значение получает „щедрость“ князя или боярина. Щедрый князь сравнивается с рекою, а щедрый боярин с колодецем со сладкой водой, скупой князь уподобляется реке в каменных берегах, а скупой боярин соленому колодецу.

Нет никакого сомнения, что в такой же среде, вероятно в среде мелких княжеских слуг, зародились памятники, подобные житию Александра Невского, автор которого близко стоял к дружинным кругам и не мог забыть княжеской милости, так же как и предшествующий ему Даниил Заточник. Рядом с этим найдем прямые указания на то, что некоторые известия в летописях были написаны людьми, вышедшими из демократических кругов русского общества. Кому иному могут принадлежать знаменитые слова Новгородской летописи под 1256 годом о боярах, которые хотели творить себе добро, а меньшим зло:

<sup>1</sup> Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам. Приготовил к печати Н. Н. Зарубин. Л., 1932, стр. 19.

<sup>2</sup> И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка, т. I, стр. 576.

<sup>3</sup> Материалы для терминологического словаря древней России. М.—Л., 1937. — Слово „градник“ отсутствует в многочисленных памятниках, использованных для материалов.

„и бысть в вятших свет зол, како побѣти меншии, а князя въвести на своей воли“.<sup>1</sup>

Народные массы не оставались безмолвными свидетелями больших политических событий своего времени. Вот почему они помнили о злом тысячом Путяте, двор которого был разграблен в киевское восстание 1113 года. Этот Путята Вышатич под искаженным именем Мышатички Путятина сохранился в русских былинах, как сохранились в них имена защитника новгородских прав Ставра Годиновича и посадника Мирошки.

Чем же объясняется, что соотношение церковной и гражданской литературы, оставшейся от Руси XI—XIII веков, очень невыгодно для последней? Вспомним хотя бы повременный список сочинений X—XI веков, составленный покойным академиком Н. К. Никольским. В нем мы находим главным образом памятники церковной письменности. О них же по преимуществу говорят сочинения по истории древнерусской литературы. Только немногие гражданские произведения — „Слово о полку Игореве“, „Слово Даниила Заточника“, „Слово о погибели Русской земли“, „Поучение Владимира Мономаха“ — возвышаются как отдельные острова среди моря церковной литературы. Да и эти произведения дошли до нас в единственных экземплярах. „Слово о полку Игореве“ погибло или было утеряно в московский пожар 1812 года, списки „Слова Даниила Заточника“ дошли только от сравнительно позднего времени, от XV—XVII веков. „Слово о погибели Русской земли“ было также долгое время известно в единственном списке. Только недавно новый список „Слова о погибели“ обнаружен неутомимым собирателем рукописей В. И. Малышевым. Наконец Поучение Мономаха дошло в единственном и притом дефектном списке.

Конечно, трудно предполагать, что гражданская литература в древней Руси преобладала над литературой церковной. Но были особые условия для гибели памятников гражданской литературы, которые действовали на протяжении ряда веков и которые до сих пор слабо отмечены в нашей исторической литературе. Главными хранителями церковной письменности, как это хорошо известно, были различного рода монастыри. За крепкими стенами этих оплотов феодальной власти хранились большие рукописные богатства, но самые условия монастырской жизни мало способствовали сохранению памятников гражданской литературы. Монастырские библиотеки (Чудова монастыря, Троицко-Сергиева монастыря и пр.) в большом количестве сохраняли различного рода церковные книги и произведения церковных писателей. Гораздо менее тщательно хранились светские произведения (кроме летописей и хронографов). Повидимому, и дошедшие до нас древнерусские сочинения гражданского характера сохранялись только в виде исключения, в том случае если они были объединены в сборнике с каким-нибудь летописцем, хронографом, или с церковными статьями. Рукопись, заключающая „Слово о полку Игореве“, представляла собою сборник, в который входили хронограф, а также „Временник, еже нарицается летописание Русских князей и земля Русская“. „Поучение Владимира Мономаха“ сохранилось в составе Лаврентьевской летописи. „Слово о погибели Русской земли“ оказалось в соседстве с житием Александра Невского, как это показывают оба его сохранившихся списка. Иными словами, гражданская литература древней Руси сохранялась до нашего

<sup>1</sup> Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.—Л., 1950, стр. 81.

времени преимущественно при посредстве летописных или церковных произведений. Поэтому мы можем с полным основанием предполагать, что гражданская литература Киевской Руси вовсе не исчерпывалась одиночными памятниками вроде „Слова о полку Игореве“ или „Моления Даниила Заточника“. В этом нас убеждают русские летописи XI—XIII веков, которые в сущности сохранили немалое количество памятников гражданской литературы, представлявших собой когда-то особые повести.

Уже К. Н. Бестужев-Рюмин подметил, что повести, известные нам теперь по летописи, когда-то представляли собою отдельные сочинения. Некоторые князья прямо приказывали вписывать в летописи на поучение потомству описание различных бедствий и крамол, как это сделал волынский князь Владимир Василькович. Между тем в курсах истории русской литературы такие повести редко изучаются в виде отдельных произведений, а рассматриваются под общей рубрикой летописей. Таким образом создается совершенно неверное представление об односторонности русской литературной традиции XI—XIII веков, хотя гражданская литература на Руси появилась по крайней мере в X веке, т. е. одновременно или почти одновременно с литературой церковной.

В свое время И. И. Срезневский, а в настоящее время и ряд других исследователей, считал, что начало Повести временных лет представляет собою особое произведение, ставившее своей задачей показать, „откуда Русская земля стала есть“. Действительно, в повести о начале Руси, как ее называл акад. Н. К. Никольский, мы имеем перед собою определенное историческое повествование, повидимому, первоначально лишенное всякого налета церковности. Создатель этой повести интересовался историей полян-Руси, их первыми князьями — Олегом, Игорем, Ольгой, Святославом. Он был чужд позднейших рассуждений о варяжском происхождении князей, для него „словенский язык и русский одно есть“.<sup>1</sup>

Кто же писал это произведение, в котором гражданская стихия, интерес к политическим событиям резко преобладал над интересом к событиям церковным? Думается, что автором его во всяком случае не являлся представитель духовенства.

Автор повести о начале Руси прекрасно знал обстоятельства конца X века. Он знал взаимоотношения между сыновьями Святослава. С необыкновенной четкостью и осведомленностью в деталях он описал борьбу Олега с Ярополком, гибель Олега, новую борьбу между братьями, победу Владимира и гибель Ярополка. Ему были известны даже деятели X века: воевода Блуд, который предал своего князя, и некий Варяжко, верный сподвижник Ярополка, который бежал после смерти Владимира к печенегам. Такого рода подробности были бы совершенно непонятны для людей, живших через 30—40 лет после смерти Владимира и описываемых событий.

Следовательно, уже на самой заре русской историографии появляется литературное произведение гражданского характера.

Можно указать несколько повестей, включенных в состав летописей XI—XIII веков, которые не имеют никакого отношения к церкви и не могут быть приписаны официальным княжеским историографам. Так, уже К. Н. Бестужев-Рюмин указывал на существование особого сказания об Изяславе Мстиславиче, положенного в основание известий

<sup>1</sup> Летопись по Лаврентьевскому списку, стр. 28.

за 1146—1152 годы в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях.<sup>1</sup> Предположение Бестужева-Рюмина о существовании сказания об Изяславе очень правдоподобно, но требует некоторого уточнения, так как речь может идти не об одном, а о нескольких сказаниях, вошедших в состав Ипатьевской летописи. Действительно, события названных лет описаны в Ипатьевской летописи не только подробно, но и с определенной точки зрения, обычно враждебной Юрию Долгорукому и его союзникам Ольговичам. Но не эта черта сказаний об Изяславе, давно уже отмеченная в литературе, привлекает наше внимание, а вопрос о том, в каких кругах возникло подобное повествование. Автор его не мог быть представителем духовенства, так как рассказ лишен почти всякого намека на церковность, за исключением обычных слов о том, что Изяслав победил „пособьем божиим“. Более того, известие о разграблении домов и монастырей в Киеве оставлено без всяких комментариев о неприкосновенности церковных имуществ.<sup>2</sup> М. Д. Приселков считал, что выделяющееся „талантом изложения, живостью и жизне-радостностью описание времени Изяслава Мстиславовича“ было составлено „весьма близким к князю лицом, едва ли не дружинником князя“.<sup>3</sup> В этом высказывании М. Д. Приселкова ярко выразилась его тенденция приписывать все памятники летописания лишь духовенству и феодалам. Между тем в тексте Ипатьевской летописи очень мало говорится о самом Изяславе, по крайней мере нет ничего похожего на те похвальные отзывы, которые помещает о владимирских князьях Лаврентьевская летопись. Зато некоторые другие черты заставляют предполагать, что среди авторов летописных известий о событиях в Киеве мы найдем не только дружинников, но и горожан.

Главное действующее лицо повествования Ипатьевской летописи о междоусобных расприх князей в середине XII века — это киевские горожане, „кияне“. Киевляне ведут переговоры с Игорем Ольговичем, жалуясь на княжеских тиунов, „все кияне“ приносят присягу Игорю и потом изменнически переходят на сторону его противника Изяслава. Во всем рассказе нет и намека на обычные рассуждения о нарушении крестного целования, имеется только ссылка на слова черниговского епископа о клятвопреступниках.<sup>4</sup>

Еще интереснее рассказ Ипатьевской летописи об убийстве Игоря Ольговича. Тема рассказа о насильственной смерти князя от разъяренной толпы давала простор для церковных рассуждений о мученических кончинах и пр. Действительно, в летописном тексте помещены предсмертная молитва Игоря и другие отступления церковного характера, но трудно оспаривать их вставное происхождение.<sup>5</sup> Первоначальный рассказ об убийстве Игоря лишен налета церковности, в нем нет указаний и на то, что этот рассказ вышел из-под пера дружинника. В рассказе „кияне все“ сходятся на вече во дворе Софийского собора „от

<sup>1</sup> К. Бестужев-Рюмин. О составе русских летописей до конца XIV века. СПб., 1868, стр. 79—105.

<sup>2</sup> Летопись по Ипатскому списку, стр. 233.

<sup>3</sup> М. Д. Приселков. История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940, стр. 53.

<sup>4</sup> Летопись по Ипатскому списку, стр. 228—232. — Рассказ о низвержении Игоря с княжеского стола написан с определенной симпатией к Игорю, а не к Изяславу.

<sup>5</sup> Вставка начинается от слов „Игорь же услышав“ и кончается фразой „и то ему глаголюще“. Восклицание Игоря „ох, брате, камо мя ведуть“ осталось несогласованным с вставкой о словах Игоря, что он будет „мученик“ (стр. 247—248). В Лаврентьевской летописи, где первоначальный рассказ об убийстве Игоря подвергся сокращению, вставки церковного характера отсутствуют.

мала и до велика“, подробно переданы переговоры между киевлянами и послом Изяслава Мстиславича. Та социальная среда, в которой возникла мысль о необходимости убить Игоря, выясняется из речей, произнесенных на вече. „Един человек“ напоминает о восстании 1068 года, поднятом киевскими ремесленниками и торговцами. В убийстве Игоря принимает участие „народ“, тогда как митрополит и тысяцкие выступают против решения киевлян, что им „не кончати добромь“ с Ольговичами.

В рассказе об убийстве Игоря мы не найдем указаний на его автора. В нем нет и прямых или косвенных указаний на то, что он написан дружинником, на первом месте в нем стоят не феодалы, а горожане, „вси кияне“. Автор рассказа даже не считает нужным порицать киевлян, приписывая приближенным Изяслава фразу, складывающую вину за убийство на самого Игоря и его родичей: „не ты его убил, но убили суть братия его“<sup>1</sup>.

Если нельзя настаивать на том, что автором рассказа о смерти Игоря был безусловно горожанин, средневековый торговец или ремесленник, то нельзя и отрицать такой возможности. Во всяком случае такое предположение легче объясняет происхождение из городской среды рассказа о смерти Игоря, чем домыслы о княжеском дружиннике Изяслава как авторе летописного текста, сохранившегося в Ипатьевской летописи.

Центральная идея повествования о трагических событиях 1146—1147 годов выражена словами „бог за нашим князем и святая Софья“,<sup>2</sup> которые напоминают нам соответствующие выражения новгородских летописей.

Историки литературы, обращавшие внимание главным образом на церковную окраску летописных известий, почти игнорировали гражданские повести, включенные в наши летописные своды в виде особых повествований. Впрочем, за некоторыми из них утвердилось название „войнские повести“, которое заставляет думать, что такие повести вышли из феодально-военной среды, в частности из среды княжеских дружинников. Но это определение содержания повестей является чрезмерно сужающим их значение и может быть применено далеко не ко всем произведениям гражданского характера, включенным в летопись. Да и само военное дело не было исключительным достоянием дружинников, а было знакомо средневековым купцам и ремесленникам. Поэтому авторство повести о взятии Царьграда латинянами, вставленной в Новгородскую летопись под 1204 годом, с равным успехом может быть приписано как дружиннику, так и новгородскому купцу.

Почти уже прямое указание на автора, вышедшего из среды торговых людей, имеем в сказании об убийстве Андрея Боголюбского, помещенном в Ипатьевской летописи. Сказание это сложное по составу. Начало его представляет церковную похвалу Андрею, изображенному в виде мученика. В сущности рассказ о самом убийстве вводится словами: „се же бысть в пятницу“.<sup>3</sup> Этот рассказ изобилует такими подробностями, что не остается сомнения в том, что он написан лицом, хорошо знакомым с описываемыми им событиями. Единственным человеком, позаботившимся о теле убитого князя, изображен некий Кузьмище Киянин. Имя его говорит о происхождении из Киева, на его социальное положение указывает следующее припоминание об убитом

<sup>1</sup> Летопись по Ипатскому списку, стр. 250.

<sup>2</sup> Летопись по Лаврентьевскому списку, стр. 302.

<sup>3</sup> Летопись по Ипатскому списку, стр. 397.

князе, который показывал богатства церкви в Боголюбове: „аче и гость приходил изъ Царягорода, и от иних стран из Руской земли, и аче латинин, и до всего хрестьянства“.<sup>1</sup> Гость — купец, торгующий с иноземными странами. Фигура такого гостя ярко рисуется в словах Кузьмища Киянина, вероятно заезжего киевского гостя, свидетеля трагических событий 1174 года в Боголюбове.

Мы остановились только на нескольких примерах, показывающих возможность, более того, вероятность участия городских кругов, торговцев и ремесленников в создании русской литературы XI—XIII веков. При более внимательном изучении эта вероятность получит еще большее подтверждение, чем раньше. Например, известное сказание о Липицкой битве 1216 года, при беглом взгляде, может быть отнесено к воинским повестям. Но такое заключение будет очень поспешным. В краткой и в подробной редакциях этого сказания главными героями являются новгородцы и смольняне, предпочитающие сражаться пешими, а не конными: „мы на коних не хошем, но яко же отци наши билися на Колакши пеши“. Воины слезают с коней, сбрасывают с себя верхнюю одежду и сапоги. В отличие от них „сами князи и вси вои поидоша по них на коних“.<sup>2</sup> Конечно, перед нами не профессионалы-дружинники, а ополченцы, между тем они показаны главными героями победы на Липицком поле, а о подвигах дружинников нет ни слова. Особый интерес проявляется автором сказания к судьбе новгородцев и смольнян, „иже бяху зашли гостьбою“ в земли враждебных князей.

В задачу нашей небольшой статьи, конечно, не входило рассмотрение всех памятников, которые могли возникнуть в среде горожан, но и сказанного достаточно для обоснования общего положения о том, что древнерусская литература создавалась не только феодалами и духовенством, а имела гораздо более широкие народные истоки, в частности в ее создании принимали участие горожане, ремесленники и торговцы. И если позднейшие переработки и дополнения во многом исказили первоначальные произведения городской литературы, то задачей будущих исследований является выяснение настоящих черт и особенностей этой городской литературы как особенно близкой к народным кругам.

<sup>1</sup> Летопись по Ипатскому списку, стр. 401.

<sup>2</sup> Полное собрание русских летописей, т. XXV, стр. 113.